



Интервью с Еленой Андреевной ЗДРАВОМЫСЛОВОЙ

«МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ “СЧАСТЛИВЫМ БРАКОМ” ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ С КАЧЕСТВЕННОЙ МЕТОДОЛОГИЕЙ»

Здравомыслова Е. А. — окончила философский факультет ЛГУ, кандидат социологических наук, профессор Европейского Университета в Санкт-Петербурге. Основные области исследования: гендерная социология, феминистская перспектива, репродуктивное здоровье. Интервью состоялось в 2008-2009 годах.

Согласие на автобиографическое интервью я «выбил» у Елены Андреевны Здравомысловой в августе 2007 года. Тогда же и началась наша работа; к октябрю того года уже было многое написано. Потом возникла серия обстоятельств, не позволявших мне просить Лену завершить текст. Но в сентябре 2009 года мы поняли, что пора... откладывать нельзя.

Исходно этот текст начинался, как и все мои электронные интервью: были конкретные вопросы, было стремление Лены ответить на них. Но, прочитав летом 2009 года все написанное ею, я понял — по стилю и логике ее изложения, — что мои вопросы не помогают ей раскрыться, а, наоборот, сдерживают развитие этого процесса. Наше очень давнее знакомство и дружеские отношения позволили мне отклониться от моей традиционной методики интервью и перейти к тому, что можно назвать интервью-эссе. Я обозначил лишь несколько тем, по которым хотел бы получить ее суждения, оставив все остальное на ее усмотрение.

Возможно, кто-то найдет эту форму интервью слишком «мягкой», не позволяющей интервьюеру получить ответы на многое, интересующее его. Соглашусь с этим. Но использование интервью-эссе открывает и новые горизонты для изучения всего комплекса вопросов, связанных с исследованием прошлого-настоящего российской социологии. И потому я не отказываюсь от этого метода.

Здравомыслова Е. А.: «Моя профессиональная жизнь характеризуется “счастливым браком” гендерных исследований с качественной методологией»¹

Я стараюсь писать «правду», и потому начну с того, что у меня не было никакого желания становиться социологом, не сформировался профессиональный интерес ко времени поступления в университет. Учеба в английской школе №80 давалась легко, ясно было, что профиль у меня гуманитарный — я занималась в литературном клубе «Дерзание» во Дворце пионеров, который был рассадником всякой контркультуры и новых литературных веяний и отличных знаний. Ясно было одно и без проблематизации — я поступаю в ЛГУ. Это означает, что по социальному происхождению принадлежу к той социальной группе, где получение высшего образования (причем именно университетского) считается нормальной частью жизненного пути. Тут нет точки бифуркации, т.е. передо мной не было выбора — учиться или нет. Выбор в пользу высшего образования был сделан, в том числе и для меня моими предками.

Филфак мы на семейном совете как-то сразу отбросили как некоторое несерьезное образование, считая, что знания, приобретаемые там, могут быть получены факультативно и среда, так сказать — девичья... Философский факультет — несмотря на идеологические уклоны — родители считали тем местом, где получают хорошее базовое образование, воспитание мозгов там имеет место. В общем считалось, что надо развивать мои интеллектуальные способности через чтение зауми. У меня не было противопоказаний. Я читала «материалистов Древней Греции» — это такая небольшая антология по древнегреческой философии — и знала наизусть различные афоризмы Гераклита-Демокрита; типа: в одну реку нельзя войти дважды. Или про огонь мерами возгорающийся — мерами потухающий. Или про: «познай самого себя» и про: «путь вверх и вниз один и тот же». Эта афористичность художественная очень соответствовала моему юношескому философскому романтизму. В общем, я собиралась заниматься на философском либо теорией познания, либо историей философии, а о социологии в принципе не задумывалась. Мое близкое окружение из Дворца пионеров (справедливо) считало, что я поступаю на идеологический факультет — очень многие ассоциировали философский факультет с научным коммунизмом и историей партии, и я, оправдываясь, говорила, что мой интерес ориентирован на «чистое знание» — хочу, так сказать, понять, что же такое трансцендентальное единство апперцепции. В общем, интерес к новым словам скорее носил филологический характер. Я вообще-то думаю, что эти тренировки интеллекта на этапе становления личности — чтение Маркса, Канта и Гегеля (прежде всего «Феноменологии духа» и «Критики чистого разума» и «Пролегоменов»), это действительно здорово. После этого любой Вебер-Парсонс (простите!) кажется простым — простейшим текстом. Задним числом мне кажется, что, читая в 17–18 лет эти классические философские тексты и старясь их понять, я формировала какую-то особую структуру сознания, завивала свои извилины в некий особенный перманент, который значительно в дальнейшем облегчил мне личную и профессиональную жизнь.

Проблема, конечно, заключалась в том, что на факультете видно воспринимали меня как «дочку» и студенты, и преподаватели... Но в своем нарциссизме и эгоизме я мало на это обращала внимания. Во-первых, я не делала карьеру, а просто по-школьному хорошо училась, и мне это давалось без труда. Во-вторых, потому что «детей» на факультете было не меряно. На факультете среди однокурсников было много интересных для меня людей из другого — большого и внешнего — мира. Они жили в

1 Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2009. № 6. С. 9–15.

общежитиях, многие молодые люди поступили после армии, приезжали из других городов, жили самостоятельно, а не с родителями, снимали комнаты в коммуналках, чтобы быть свободными от правил общежития, работали дворниками. При этом уровень их понимания и иногда и уровень знаний, приобретенных в режиме автодидактики с серьезными усилиями, направленными на преодоление дефицита ресурсов, в том числе в доступе к носителям знаний – людям, текстам, культурным объектам – был ничуть не хуже того, что с молоком матери впитывали местные интеллигентские дети из приличных школ, обучавшиеся на нашем факультете. Меня тянуло к экзотике – к ребятам из общежития, которые читали Гегеля и могли обсуждать сутками эту заумь. Они, конечно, были постарше и биологически и социально. Мне кажется, что мои привилегии в этом сообществе были связаны еще и с моей молодостью и гендерной принадлежностью. В общем, я научалась слушать других – экзотических чужих, так непохожих на «наш круг», таких интересных и притягательных. Училась помалкивать и не высказывать со своими суждениями (а я была школьной выскочкой) – и мотать на УС.

Наиболее значимы для меня были лекции по истории философии. Их читал Е.П. Водзинский, но довольно уныло. Казалось, что ему все скучно, листочки были желтенькие, многократного использования, но у меня это вызывало почему-то уважение. Как архивные записи... Надо же, как давно он это знает! Я как-то не бросала ему внутренне вызов, может быть, потому что он был добрый, был похож на профессора как его представляешь по чеховским образцам, а может потому, что лично знала его супругу. Евгений Линьков был замечательный, он был хам и умница. И это сочетание привлекает молодые души при чтении Канта и Шопенгауэра. Из преподавателей на семинаре были какие-то молодые аспиранты по теории познания. Одно из самых сильных впечатлений – В.Л. Шейнис и вообще политэкономия капитализма – чтение Маркса. Первый курс. Я не понимаю, как я это могла прочесть, но первый том я знала прилично... Вгрызаясь. А Шейниса лекции были занимательны и глубоки.

Для меня было важно, что все эти преподавательские фигуры были персонализированы. Про Шейниса я знала семейный анекдот о его работе на заводе «Светлана». Это были не абстрактные преподы, а живые люди. Марья Семеновна Козлова вообще говорила только про сознание и лингвистическую философию даже в гостях. Местным гением ораторского искусства на факультете был тогда Киссель Михаил Антонович – заметим, что его супруга Азалия Алексеевна – была социологом, как и супруга Водзинского – и они часто приходили в наш гостеприимный дом. Так что социология у меня была на дому в виде гитары и компании коллег отца... в обрамлении текстов Окуджавы и Галича, романсов и русских народных, а также домашнего самиздата.

Социологию у нас на факультете не читали в принципе. Тогда еще даже Вебер в инициальной «Для служебного пользования» не вышел. Азалия Алексеевна Киссель читала методы прикладного социологического исследования. Но без реального поля это понять и усвоить было невозможно.

Я поступила в 1970 году и закончила в 1975. Это был «застой застоевич». Однако, чтение классической философии не возбранялось, а рьяность в официальной публичной жизни шла на убыль. По русской философии был курс, но и преподаватели (П.Ф. Никандров и А.А. Галактионов), и их учебник были неинтересны. Казались дремучими. (Извините, пожалуйста!) Живых текстов еще не было. Бердяев, Шестов были доступны только в спецхране...

Застой, может быть, был в политике и в экономике... В социальной жизни формировалась в это время городская контркультура, появлялись альтернативные стили жизни, религиозные группы и марксистские кружки среди философов, художники-авангардисты, литераторы, театральный бум, филармоническое богатство,

салоны и клубы, и студии ... городское пространство было наполнено множеством разных сред, организованных и вправду по разным правилам как разные жизненные миры. Это было «второе общество», отделенное от мира партийных собраний, ленинских зачетов, экзаменов и даже лекций. Конечно, в российском варианте второе общество было гораздо более урезанным, чем в Восточно-европейских странах, где их структуру проанализировал венгерский социолог Элемир Ханкиш. Вот этот интерес к различным средам, отделенным от моей собственной вполне явным барьером, любопытство, приводящее к погружению – не без рисков для личностной биографической безопасности – был мне присущ. Интересуюсь, в общем, людьми, их рассказами, стратегиями, коммуникативными практиками. Полагаю, что впоследствии этот интерес и воплотился в биографические социологические исследования, которыми я активно занимаюсь.

А таких сред вокруг меня было несколько. Во-первых, родительская среда – это то, в чем я никогда не сомневалась – среда первичного доверия, тот самый шютцевский непосредственно данный нам в опыте жизненный мир, состоящий из дружеского круга родителей. Горфункели, Киссели, Асеевы, Бранские – каждое из этих четырех семейств, создававших буфер нашего семейного круга, достойно отдельного рассказа. Их жизнь драматична, их социальная интеграция не беспроблемна. Но они и составляли то постоянное сообщество, в котором я выросла и которое имело свои ритуалы, ценности и практики, характерные для советских шестидесятников. И не просто шестидесятников, но тех из них, кто принадлежал к академическому сообществу. Эти люди, в моем представлении, создавали свои жизни на основаниях многопоколенного культурного бульона, они были милыми идеалистами как герои Аксеновского «Звездного билета» или из его повести «Коллеги». Высокий уровень общей культуры, высокий уровень культуры речи. Разговаривали. В общем, я их уважала, их ценности и нравы были мне близки телесно.

Второй круг – клуб «Дерзание» с его блестящими молодыми литераторами и такими педагогами, как Алексей Михайлович Адмиральский, Нина Алексеевна Князева, Любовь Борисовна Береговая, Израиль Сальевич Фридлянд... Большинство из педагогов уже далече... Там я переживала «час ученичества». Этот круг позднее переселяется пространственно в сегмент «Сайгонного сообщества» – я о нем провела исследование... Это были люди гораздо критичнее настроенные к советскому обществу, нежели мои родители. Они создавали контркультуру из материала собственной жизни с большими потерями для здоровья, не говоря уже о карьере...

Университетский студенческий круг представлялся мне дифференцированным и фрагментированным. Я проводила тогда и сейчас несколько различий и все больше дихотомических (а может это биографическая иллюзия). Первое различие – научные коммунисты и философы. Это два отделения, где, как мне представляется, группировались разные мотивации студенчества философского факультета. Первая – ориентация на партийно-идеологическую карьеру; вторая – на философское знание (деление условно и не всегда совпадает по персоналиям). Второе различие – «дети» и «взрослые». «Дети» – это выпускники ленинградских школ, чаще специальных. Взрослые – после армии, рабфака, с большим жизненным опытом, чем школьники. Их было большинство, и на нашем курсе они были, как правило, приезжими и жили вдали от своих семей. Кроме того, в студенческие годы образовывались среды, связанные с практикой стройотрядов. Так я познакомилась со своим первым мужем, и он был младше на курс, и там были тоже всякие искания, но больше в области общекультурных знаний и там социальным клеем были Биттлз и более поздний рок...

Потом были притягательные места межфакультетской тусовки – «Академичка – кладбище надежд между кунсткамерой и клиникую Отто».

Да, я, в общем-то, была абсолютно аполитична. Помню Ленинские зачеты ежегодные – необходимые для допуска к сессии. Все как бы формальность. Но надо сдать, а я не знала, кто руководитель Югославии и по подсказке назвала его как-то не так... Иосиф Гросс Титов – все смеялись, но какой с меня спрос? Я не активистка, чья-то там дочка, кроме того, девушка с характером и с долей поведенческой непредсказуемости и отличница по базовым предметам.

А еще был случай... У нас на научном коммунизме парень учился – не помню имени ... Саша-Леша – и он вдруг решил податься в семинарию. Нас собрали в 159 аудитории – большая такая – чел 100 входит запросто – и стали его обсуждать. Ужасно! Стыдно вспоминать. Я тоже думала: зачем это он с этим мракобесием связался, ведь он комсомолец! И даже, по-моему, проголосовала за исключение из Комсомола или предусмотрительно вышла из переполненной аудитории – типа, в туалет.... Пришла домой и рассказала. Помню мама-папа как-то погрустнели и сказали друг другу понимающе подморгнув: «...НЕУЖЕЛИ снова начинается?!» Головами покачали – советов не давали. Но я поняла, что в массовках не надо принимать участия, особенно в политических...

А потом еще было главное... у нас на курсе учился Борис Попов. Так вот у Бори вроде проблемы были с алкоголем, он стихи писал, друзья у него были замечательные, душа компании. А потом он покончил с собой, кажется в 1975 году (могу ошибиться). А в нетрезвости одна тема его мучила – как он «принимал участие» в Чешских событиях 68 года, проходя службу в армии. Был в танковых частях...

В общем, студенчество – это дружба и интеллектуальные поиски себя, пространство «свободы в СССР», о которой писал потом Леонид Ионин. Все-таки я очень рано училась и при общей социальной инфантильности к выпуску пришла со следующими показателями: мне был 21 год, я имела диплом философа (не смешно ли это звучит?), была замужем и имела к тому времени двухлетнего сына. Несмотря на распад родительской семьи, очень полагалась, не отдавая себе в этом отчета, на семейный тыл. Была абсолютно уверена в своем муже и мало задумывалась о происходящем в российском обществе... Эгоцентризм и наличие своей среды помогали не обращать внимания на «свинцовые мерзости жизни» и порхать в льготном режиме – абсолютная стрекоза. По завершении обучения на философском факультете я поступила в аспирантуру. Руководителем был внимательный, но снисходительный В.А. Ядов. Еще три года свободы!!! Подрабатывать к зарплате можно было по-всякому,... например, сторожем в Смольном соборе – сутки через трое 140 руб. в месяц и в кармане – огромный ключ от собора плюс 55 рублей стипендия, поддержка мамы, заработка мужа, который серьезно относился к функции кормильца и о диссертации не помышлял.

Об эмпирической социологии у меня было весьма смутное представление. Диплом я писала с удовольствием по социологии знания – Шелер, Мангейм, Мертон – и до сих пор могу воспроизвести краткое содержание, ресурс английского языка и книг в домашней библиотеке воспринимался как само собой разумеющееся благо, даже не ценимое. Ко времени защиты диплома я уже находилась в каком-то ламинальном жизненном и социальном пространстве. Выпала из жизни публичной... жила уже в контркультуре, полностью разочаровавшись в советской публичности. Решила про себя: отслужив аспирантуру, найти работу непыльную, карьеру не делать никогда – это позор, подразумевающий массу компромиссов нравственного порядка в смысле вступления в КПСС; получить возможность иметь больше свободного времени для своих интересов. Ценности, которым я хотела следовать: свобода, частная жизнь, интеллектуальный досуг и неформальная публичность, о которой мы потом писали с Виктором Воронковым. Принцип (который никогда не осуществился) – на работе друзей не заводить ни за что... Вести себя там строго формально и иначе, чем в аутентичной сфере дружеской тусовки... Никакой партийности, никакой идеологии... Уже был прочитан «Архипелаг ГУЛАГ»...

В 1978 году, закончив аспирантуру и не написав диссертации, я поступила на работу младшим научным сотрудником в ИСЭП АН СССР в сектор социально-экономических проблем труда, которым тогда заведовал Лобанов Н.А. А директором был И.И. Сигов после недавно скончавшегося социолога Г.Н. Черкасова. Я потом оставалась «мэнээсом» до 1990 года. Работа была никакая — мы все это знаем. Социология эта была странная. Я даже писала когда-то об этом. Раз в полгода — аврал — производство отчетов. За все время работы один массовый заводской опрос, в котором я принимала участие как интервьюер (1978 г.). Он меня полностью разочаровал в эмпирической социологии. Рабочих на заводе «Русский дизель» в обеденный перерыв загнали в красный уголок, где они со смешками заполняли многостраничную анкету «Ваш труд и быт» из серии «все про все»... При заполнение присутствовал парторг... Когда я попыталась индивидуально кого-то проинтервьюировать у станка, мне поставили на вид координаторы поля. Потом я несколько раз была свидетелем того, как интервьюеры сами заполняли анкеты за респондентов (no comment)... На работе регулярно праздновали дни рождения, престольные праздники. Новичок должен был проставить коллективу.... При этом соблюдалась трудовая дисциплина на вход — в 9.15 и на выход 18.15 (не считая библиотечных дней). Анекдот, да и только! Но народ до чего же культурный!!! Филармония, игра «в балду» и «в слова», стихи наизусть, сочинение стихов на случай, распространение самиздата, очереди на кинофестивали, добровольная народная дружина, овощебаза и колхоз, вязание, кофе, общество книголюбов, шуры и муры... В общем, живая формально не регламентируемая жизнь сообщества «на рабочем месте» во вполне публичном пространстве в контексте советского застоя.

В это время что-то значимое происходило в институте, но я была далека от событий профессионально-административных — Андрей Алексеев проводил свое включенное наблюдение на заводе, Владимир Александрович Ядов в результате конфликта был перемещен в почетную ссылку. Там же — т.е. в почетной ссылке — оказался Борис Максимович Фирсов. Я работала в секторе, который был маргинальным в социологическом отделе. Идентифицировала я себя больше с сектором Ядова, где был привлекательный коллектив: Валерий Голофаст, Олег Божков, Татьяна Протасенко... Интересный народ были «городошники» в секторе Марата Межевича: Михаил Борщевский, Альберт Баранов, Виктор Воронков... В 1982 году начался Андроповский период. Для нас он ознаменовался ужесточением административного контроля, последней кампанией против диссидентов, поисками утечки доклада Татьяны Ивановны Заславской.

Меня вызвали в КГБ по делу Воронкова в сочетании с доносом за распространение антисоветской литературы («Зияющие высоты»). Я получила так называемое «предупреждение». Информация была послана в ИСЭП. Завсектора, как положено, организовал собрание трудового коллектива, где осудили меня за распространение антисоветчины и за идеологический разврат. На собрании было отмечено, что я не демонстрирую чистосердечного раскаяния в содеянном. Пара человек избежала участия в этом действии, сославшись на нездоровье. Кто-то воздержался при голосовании, но, слава Богу, в стенограмме собрания это не было отмечено. Лобанов после этой чистки извинился и предложил подвести домой. Но были и действительно рьяные молодые товарищи, которые в своих выступлениях на этом собрании отметили, что я не достойна работать на идеологическом фронте или что-то в этом духе. ...Хорошо, что я не была членом партии.

В это же время товарищи-друзья на собрании другого сектора дружно осуждали Воронкова за валютные операции и распространение антисоветской литературы — смешно было смотреть на это единогласие бывших гостей дома и собутыльников. Виктор получил два года условно и остался работать лаборантом в том же секторе

— его не имели права увольнять на время судимости и сдали на поруки коллектива. Через некоторое время меня вызвал директор института И.И. Сигов и сообщил, что грядет переаттестация, и это означает, что меня нужно будет уволить: по своим идеологическим качествам я не имею права работать на передовом фронте советской общественной науки. Ивглаф Иванович проявил удивительное внимание. Он сказал, что я должна срочно искать себе работу, иначе меня уволят с волчьим билетом, и мне останется только идти в охранники или уборщицы. До аттестации оставалось три месяца. Я довольно лениво отправилась в Москву к отцу. Изложила ему всю историю, он позвонил своему товарищу по комсомолу — Леониду Белкину, который был ректором Высшей профсоюзной школы культуры при ВЦСПС, без обиняков изложил ему просьбу и меня перевели в ВПШК на какую-то еще более халявную должность — в методический отдел мэнээсом.

Надо сказать, что это было такое специальное место. В ВПШК отсиживались слабо репрессированные и не вполне благонадежные. Над нами существовал негласный контроль, о чем я не сразу узнала... Легкомыслие спасало от драм. Социология была где-то далеко, да и «был ли мальчик?»... Жизнь продолжалась. Работать в ВПШК было ТАК скучно, что я закончила курсы экскурсоводов и стала зарабатывать, развозя гостей нашего города по рекам и каналам и памятным местам города-героя. Мой дружеский круг оставался тем же — частью возмужавшая Сайгонно-литературная публика, частью коллеги из ИСЭПА. Что касается семейного положения, то к началу перестройки я уже несколько лет жила с Воронковым и с нашими двумя детьми — у каждого по сыну от предыдущего брака. Основной конфликт жизни проходил тогда по линии мать-и-мачеха.

Жизнь была интересной и минимально соприкасающейся с пространством официальной публичности. Круг чтения и круг моих друзей отделял меня от советского трудового коллектива — о профессиональном продвижении не могло быть и речи ни по морально-идеологическим, ни по политическим основаниям. Социология для меня не существовала ни как поприще, ни как интерес.

В конце 1980-х я стала активно заниматься социологией общественных движений. Перестройка — это окно возможностей для российской социологии. Вдруг эта дисциплина показалась нужной и осмысленной — ориентированной не на поддержку режима, а на его критику и реформы. Лидером тогда новой академической инициативы по изучению нарождающегося гражданского общества и общественных движений был Владимир Костюшев. Однажды осенью 1986 года он назначил мне встречу (я тогда продолжала служить в Высшей профсоюзной школе) и предложил на общественных началах работать секретарем секции социологии общественных движений в Ленинградской социологической ассоциации. Я согласилась. Через некоторое время по его инициативе я вернулась на работу в ИСЭП в сектор, которым тогда руководил Валерий Голофаст в группу по изучению общественных движений. Я с удовольствием вернулась в академическую среду и уже совсем с другой мотивацией. Вот теперь действительно профессиональный выбор состоялся... (Не поздновато-ли? Мне было уже тридцать три!). Перестройка — время энтузиазма и надежд — дала толчок развитию российской социологии, новому отношению к этой дисциплине и осознанию ее очевидной демократической востребованности. Т.е. нам стало ясно, что социология и демократические реформы развиваются одновременно. И возможности институционализации социологии напрямую связаны с политическим режимом. Без институциональной демократии и гражданского общества эмпирическая социология вырождается. Могут развиваться методы обработки, может развиваться концептуальный аппарат и изучаться история дисциплины в разных контекстах, но неподцензурная полевая работа и анализ данных невозможны.

Через год с небольшим был создан филиал ИС РАН, основу которого составили социологические сектора ИСЭПа. Первый директор ИС РАН – Борис Максимович Фирсов пригласил на работу в новый академический институт всех тех, кто вынуждено покинули социологические институты в 1980-е годы. БМ сделал для меня многое и конкретное. Во-первых, он взял меня в институт социологии вместе со всей группой Костюшева, потом преобразованной в сектор. Далее, когда стал вопрос о международных стажировках для российских социологов, он разговаривал с моей мамой – они были знакомы с давних пор – и спросил, не поможет ли она в воспитании малолетнего ребенка на период моего отбытия в США на три месяца. Потом – уже позже – он взял меня работать в Европейский Университет в С. Петербурге. Так что он просто встроен в мою профессиональную биографическую канву как вожатый.

Сейчас я всецело поглощена гендерными исследованиями. В эту область меня привело изучение социологии общественных движений. Это тоже для того времени новое направление российской социологии. Ни общественных движений не было, ни тем более специальной социологической теории или исследований, связанных с этим предметом. Счастливые стечение обстоятельств вкупе с демократическими переменами открыли для меня эту тему и познакомили с людьми, изучающими ту же проблематику за пределами страны.

В 1990–1991 я в течение трех месяцев стажировалась в США по программе IREX в качестве приезжего исследователя – *visiting scholar*. Первые два месяца я стажировалась в Беркли, была аффилирована на социологическом факультете моим супервайзером был профессор (Лен, если помнишь, дай их имена по американски) Нейл Смелзер. Последний месяц я провела в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке у Чарльза Тили. По дороге – т.е. в ходе стажировки – я познакомилась с Дагом Макадамом, Сиднеем Тэрроу.

Я воочию убедилась в том, что методологический плюрализм в американской социологии (в том числе – и в интересующей меня области социологии общественных движений) торжествует и закреплён институционально: исторический марксизм Тилли уживается на национальной арене с парсонсианством Смелзера. Никто ни с кем уже даже не спорил. Споры отгремели десятилетия назад (т.е. в ходе студенческой и университетской революции 1960х–1970х). В историческом контексте эти подходы находились в конфликте друг с другом. Т.е. неомарксистская волна захватила американских социологов шестидесятников, которые бросили вызов тому, что было названо ортодоксальным социологическим консенсусом структурного функционализма. Но к началу 1990х марксизм и функционализм прекрасно уживались и рассматривались социологами с позиций «диалектики» развития и диверсификации социального знания. Если парсонсианцы фактически были ориентированы на создание аналитической модели, которая бы объясняла все возможные случаи, то неомарксистские исследования были ориентированы на изучение конкретных контекстов и механизмов мобилизации. Если в теории коллективного поведения конфликт связан с дисфункцией, то в марксистской парадигме – это движущая сила социального развития. Различия в том, что есть аналитическая модель, которую подтверждают конкретные исследования, а есть эмпирические исследования, из которых вырастает некая фальсифицируемая теория. Модель – это результат исследований, который выдается за истину. А неомарксистский подход в изучении общественных движений исходит из внимания к опыту, определенному социальной позицией детерминированной множественно – экономическим положением, религиозными верованиями, гражданским статусом, этничностью.

Я объясняю методологический плюрализм тем, что исследователи имеют свои парадигмальные предпочтения, ставят перед собой разные задачи и потому их подспорьем оказываются разные теории. По крайней мере, так это выглядело со стороны

в поле американской социологии. Никакого единого нарратива не существовало. И, надо сказать, различия касались понимания роли социологии. Большинство из тех, кто занимался общественными движениями, сами были участниками студенческих протестов и верили в политическую волю социологии и знания как такового.

Я предпочитаю термин «методологический плюрализм» категории «полипарадигмальности». Последнее, на мой взгляд, термин-ловушка. Парадигм не может быть много. Ну – пара. Ну – тройка. При этом неясно, что имеется в виду. То, что социологическое поле теоретически дифференцировано – это факт, тут не нужно ничего дискутировать. Идеи представителей ССР о консолидированной единой и неделимой российской социологии утопичны и небезопасны. Вопрос в том, может ли один исследователь придерживаться сразу нескольких взаимоисключающих точек зрения. И если – да, что же у него тогда в голове? И каким представлением об обществе и социальной науке такой эклектик руководствуется?

Мне кажется, что общество столь сложно устроено, столь изменчиво и разнообразно, так уже много умного придумано о том, как оно работает, что разные исследовательские вопросы могут заставить нас прибегнуть к разным теоретическим основаниям. Исследователь может менять свою позицию для решения конкретной задачи... Но не всерьез. Определенные основания остаются незыблемыми. Мне близка точка зрения Александра Гофмана в отечественной дискуссии о парадигмальности. Методологический плюрализм более адекватное понятие. Разные уровни исследования и разные исследовательские вопросы требуют разных подходов.

В 1993 по результатам стажировки в США я опубликовала книжку «Западные парадигмы социологии общественных движений». Видимо сказывалась еще моя философская подготовка – стремление к пересказам и интерпретациям превалировала над желанием заниматься эмпирическими полевыми исследованиями. Хотя надо сказать в период перестройки и с легкой руки (а как во множественном числе?) Владимира Костюшева, Леонида Кесельмана, Виктора Воронкова и Александра Дуки я поняла, что и в России можно заниматься живой социологией, т.к. лично взаимодействовать с людьми и, анализируя их биографический опыт, стараться понимать, как устроена социальная реальность.

По моим впечатлениям, социологи США, Германии и Франции, которые занимаются эмпирическим изучением общественных движений, это исследователи особого покроя. Во-первых они очевидно остаются критиками системы (более или менее радикальными). Как, впрочем, большинство социологов той генерации на Западе они были неомарксистами или во всяком случае с марксистским замесом... В целом они были ангажированными социологами, т.е. рассматривали социологию как научный инструмент понимания и трансформации общества. Они – партикуляристы, т.е. уверены в том, что надо изучать конкретные формы неравенства и социальные меньшинства, а не предлагать универсальные модели. Кроме того, они ориентированы на гуманистическую социологию, т.е. от конкретного индивидуального продвигаются к пониманию общего (Райт Миллз у них постоянно на устах с его идеей социологического воображения). Они разделяют критику скрытой политической ангажированности позитивизма, выдаваемого за объективную истину. Они тяготеют к качественной методологии: большинство из них считают, что включенное наблюдение и глубинное интервью – это те методы, которые незаменимы в эмпирическом исследовании. А анкетные опросы, конечно, предоставляют некоторую информацию о социальном картографировании, но их интерпретация уже задана программой исследования или социальным заказом. В целом, надо сказать, что от цифр мне до сих пор становится скучно. Я их воспринимаю, только как информацию, позволяющую определить место изучаемого феномена в социальном пространстве. Интересны мне реальные голоса, стратегии и подробности жизни в разных модельностях – так сказать, слухи, сплетни и исповеди...

Иностранные исследователи, с которыми я общалась во время стажировок и в совместных проектах в 1990е годы, тяготели к междисциплинарной методологии, которая ставит под сомнение границы между разными дисциплинами в рамках социальных и гуманитарных наук. Методология у них всех общая: можно быть позитивистом или структуралистом и в литературоведении и в истории и в социологии и в этнологии... И наоборот – быть сторонником феноменологии и символического интеракционизма независимо от дисциплинарной принадлежности. Дисциплинарные деления нужны академической бюрократии: так организованы советы по защите, требования ВАКа.

Возвращаясь к изучению общественных движений – эта тематика была и до сих пор остается интересной и востребованной. В социологии общественных движений много исследований посвящено феминизму второй волны. И, кроме того, в этой сфере качественная методология – кейс-стади, активистские исследования – получили большое распространение. А у нас в ходе политического цикла перестройки никакой феминистской мобилизации не наблюдалось... Интересно! Передо мною встал конкретный исследовательский вопрос: почему политический цикл 1980х не породил феминистского движения, и лишь на исходе появились группы феминистской повестки дня, да и то, они не были поддержаны широким общественным мнением.

Уже более 10 лет я занимаюсь гендерными исследованиями. Это для нашего академического сообщества новое направление, связанное с феминистской теорией, с социальным конструированием власти и неравенства в отношениях между группами, определяемыми по категориям пола. Почему я стала заниматься этим странным гендером? Причин, как всегда, несколько. Для меня важнейшая – академическое любопытство. Кроме того, феминистки, как встреченные мною на Западе, так и приехавшие в Россию исследовательницы, представлялись мне загадочными и непонятными, другими женщинами. Приехав в Россию, они также поразились нашим гендерным нравам, сочетанию формального равенства, женской эмансипации, семейного лидерства женщин с сексизмом, отсутствием домашней ответственности мужчин и символическим патриархатом. Именно взгляд со стороны заставил меня поставить под сомнение эти вечные культурно заданные и навязчивые до оскомины представления о том, что такое настоящая женственность и настоящая мужественность. Эти культурно обусловленные нормы – гегемонные идеологии, которые кажутся страшно примитивными и основанными на архаических, очень традиционных патриархальных представлениях, которые отстают от российских практик, но, тем не менее, устойчиво и с каким-то неизбывным пафосом воспроизводятся. В российском обществе индивиды до сих пор определяются не как личности, а как представители некоторой примордиальной группы, по поводу которой уже сформировались стереотипы. Мы репрезентированы, прежде всего, как представители рода и пола – мужчины и женщины... И в нашей культуре эти различия самые главные наряду с такими характеристиками, как этничность с ее предписаниями. И эти различия, как правило, понимаются как имеющие социальные последствия – ограничения в возможностях, приписывание жестких границ ролевого поведения, бесконечные моральные суждения – о настоящих или не настоящих м и ж... Пошлость здравого смысла особенно очевидна в гендерной культуре...

В общем, неясность, новизна, неисчерпаемость темы и, конечно, то, что у меня есть коллеги, вместе с которыми я могу работать – я, прежде всего, хочу здесь назвать Анну Темкину – все это подтолкнуло к занятиям гендерными исследованиями и феминистской теорией. Тут надо было делать все, разделения труда не предвиделось, непаханое поле – исследовательская целина. И мы занимались в 1990е годы всем понемногу: и переводами, и толкованиями новых для нас текстов (т.е. вечным самообразованием и обучением в хорошей компании), и формированием

концептуального аппарата нового для России исследовательского направления, и освоением того, как преподавать гендерные исследования (конечно, вместе с другими такими же новаторами), и соотношением эмпирических исследований с активизмом. Исследовательская работа в этой тематике предполагала множество навыков и, конечно, не без того, чтобы я не осознавала востребованность тематики в международном исследовательском поле.

А вот конкретный сюжет о том, как меня «вынесло» к феминистской тематике. В 1993 году ко мне обратились 4 студентки социологического факультета СПбГУ и попросили факультативно заниматься с ними феминистскими текстами. В то время я делила свое рабочее время между Институтом социологии и ЦНСИ. Мы стали читать Глорию Стейнэм по-английски. Занимались раз в 2–3 недели у меня дома на кухне. Приходилось готовиться. Как правило, я с уважением отношусь к своим и чужим вложенным силам. Такая инициатива очень редкая для российских студенток должна была быть вознаграждена, на мой взгляд. Благодаря Соне Чуйкиной, Тане Бараулиной, Наташе Троян и Кате Герасимовой я стала заниматься гендерными исследованиями всерьез и надолго. В 1990е годы это было запоздалое социологическое образование в режиме *learning by doing*, а также в клубном формате.

Первый опыт моего участия в международных проектах относится к началу 1990-х годов: на фоне кризиса российских научных учреждений появились и новые возможности. Академический рынок стал транснациональным, международные фонды стали поддерживать отдельных российских исследователей и научные учреждения. Появлялись новые исследовательские структуры. С начала 1990х я сотрудничаю с Центром независимых социологических исследований. Несколько коллег из ИС РАН решили организовать независимый социологический центр, его основателями стали Виктор Воронков и Эдуард Фомин. Сейчас Эдуарда уже нет с нами. Перед руководителями центра встали непростые задачи научного предпринимательства, создания исследовательского учреждения, не встроеного в существующие иерархии образовательных и академических корпораций. Я бы с удовольствием отдавала Центру больше времени, но пришлось сделать выбор. Мне кажется, что «яйца должны храниться в разных корзинах», т.е. членам семьи не стоит работать вместе, если только один из них не является полностью исполнителем. Конечно, мы сотрудничаем, и ряд исследований я провожу в ЦНСИ, но принципы – прежде всего.

Надо сказать, что в нашем поколении мы тоже все социологи-самоучки... Представляете второе поколение самоучек, потому что когда я училась, точно так же как и 20 лет до этого социологию не преподавали в вузах, и отцы-основатели советской социологии не имели возможности обучать и создавать школы. Так что значительную роль в моем профессиональном становлении сыграли западные коллеги ... Они привозили книжки, выступали с докладами, стимулировали нас к инициативным академическим практикам в виде групп чтения, летних школ и пр. Главным для меня остается то, что в совместных проектах подрывалась рутина видения социального устройства, в том числе гендерного, и коммуникативные поломки (по Гарфинкелю) межкультурной исследовательской коммуникации позволяли нам развивать техники отстранения, помогающие понять свое как чужое.

В 1990е годы в ходе совместных проектов с Ингрид Освальд (Свободный Университет, Берлин, Германия), Анной Роткирх (Университет Хельсинки, Финляндия), Дж.П. Роосом (Университет Хельсинки, Финляндия), Мартиной Риттер (Университет Франкфурта-на-Майне, Германия), Ристо Алапуру (Университет Хельсинки, Финляндия), Марку Лонкилой (Университет Хельсинки, Финляндия) и др. исследователями я пришла к выводу, что самый плодотворный путь полевой социологической работы – соавторство и совместные групповые международные проекты. Они обеспечивают сочетание отстраненной дистанцированности и

вовлеченности. Расширяют горизонты интерпретаций опытов и текстов, уплотняют чтение — основной навык социолога-аналитика. В моем профессиональном образовании и росте существенную роль сыграли западные исследователи. Эти люди, с которыми я вместе работала и кто правил мои первые англоязычные тексты, приготовленные для выступлений на международных семинарах и для публикаций, снабжали литературой и — что тут скрывать — обеспечивали заработки.

Если говорить о самых общих основаниях понимания социальной реальности, которых я придерживаюсь, то наиболее близка мне так называемая объединительная парадигма в социальной теории или тот подход, который получил название теории структуризации в версии Гидденса или генетического конструктивизма в варианте Бурдьё. Современная феминистская теория исходит именно из этих положений, изучая сложную структуру гендерных отношений и гендерного неравенства в разных обществах.

Мое отношение к марксизму — долгая тема, ограничусь кратким замечанием. Мне представляется, его методология и понятийный аппарат уже интегрирован в генетическом конструктивизме. Я думаю, что ряд марксистских идей является частью социологической классики, например, теория отчуждения или теория прибавочной стоимости. Различные версии неомарксизма подчеркивают значимость экономических политических и идеологических структур для поддержания социального исключения. Иной вариант марксизма — исторический — говорит о том, что класс — это кристаллизованный и воспроизводящийся групповой опыт или социальные практики пронизанные структурами пространства и времени. Марксизм интегрирован в современное социологическое понимание общественного устройства. Можно не признавать какие-то его версии, но отбросить его нельзя. Существуют политико-экономические контексты социальной реальности, которые просто взывают к марксистскому подходу — это кризисные ситуации, конфликт интересов, рост самосознания социальных групп. Марксизм незаменим для анализа капиталистического общества. Но он явно пасует в изучении человеческой субъективности, постсовременного общества, сложностей многомерного неравенства, исследований повседневности.

Для феминистской теории особенно актуальной является марксистская теория идеологии, согласно которой социальное знание всегда ангажировано и заинтересовано, и опыт угнетенных пострадавших обладает особой ценностью и его надо обязательно озвучивать и осмысливать для понимания социальной реальности. В марксизме у меня вызывает сомнение только эпистемология, т.е. представление о том, что существует истина в последней инстанции и детерминизм общественных процессов, эволюционизм фаз социального развития. Таким образом, вызывает неприятие лишь догматический упрощенный марксизм.

Методологически моя профессиональная жизнь характеризуется «счастливым браком» (очевидным, правда, не для всех) гендерных исследований с качественной методологией. Изучение гендерного аспекта повседневной частной жизни — в центре моего исследовательского интереса. Сложности работы с гендерной тематикой в российском академическом контексте усугубляются тем, что социальное положение индивидов и групп изменчиво в условиях трансформации, а правила, управляющие социальными практиками, ускользают от анализа и их версии многообразны. Социальные позиции зависят от стратегий и структурных условий, в рамках которых эти стратегии осуществляются. Гендерное измерение — одно из многих и чрезвычайно значимых именно в нашем обществе (хотя и не признается в качестве такового), поскольку внеклассовые различия артикулируются сильнее в условиях структурных ломок. Изменения позиций и возможностей индивидов и групп связаны с переопределением женственности и мужественности, разрушением косных возрастных барьеров,

конструированием этничности и гражданства. Эти примордиальные характеристики на самом деле социально сконструированы на индивидуальном и социальном уровне. А значит, их можно изменить или изменить их смысл и пересмотреть последствия стратегий, опирающихся на эти ресурсы идентичности.

Организационно я принадлежу к двум удивительным и новым научным проектам – ЕУСПб и ЦНСИ. Эти негосударственные структуры создают новые правила игры в поле социальных наук, в чем мне удается участвовать, хотя и не на центральных ролях. Честно говоря, я принадлежу, скорее, к поколению интеллектуальных гедонистов и постсоветского дауншифтинга. Это означает, что мне совсем не хочется участвовать в жестоких играх конкуренции или продвигаться по социальной лестнице за счет тех компромиссов, из-за которых потом будут мучить угрызения совести. Для меня важны возможности баланса работы и приватной жизни – типичная гендерно специфичная установка нашего (и не только!) общества.

Работа в научном учреждении нового типа и в исследовательском поле, позиции которого еще только определяются, – это те вызовы, на которые я отвечаю вместе с коллегами, принадлежащими к новым поколениям социологов. Кроме того, соавторство – это могучая практика – его преимущества включают взаимные обязательства, которые труднее нарушить, чем личные, и постоянный научный диалог, который не позволяет (я надеюсь) интеллектуально деградировать.